

ЗАДАНИЯ

для отборочного этапа олимпиады школьников Союзного государства «Россий и Беларусь: историческая и духовная общность» в 2018 году

Тексты для написания отзыва

ПОЭЗИЯ

Ипполит Богданович

БАСНЯ

Казалось глупому ослу там не довольно
Кормиться на лугу, хозяин где гонял.
То было у реки: осел не пожелал
Есть каждый день одно, и поплыл самовольно
На тот чрез воду край, — казалось там трава
Приятнее ему. Хозяин с криком стонет,

В реке осел что тонет.
Но втуне были те слова,
Осел тогда был на середине,
Река
Была топка,
Не смогли дале плыть, осел увяз там в тине.
Осел и корму был не рад:
Пришло ему там тошно,
Что ни вперед ни взад
Поплыть ему не можно.
Он сам тому виною,
Что в тине должен умирать.
Не удалось ему насытиться травой,
Ни кожи мужику с него содрать.
Познай моих, читатель, силу слов.
Великие стада найдешь таких ослов,
Противясь что судьбине,
Излишнего хотят, своим несыты всем;
Но вовсе погибают тем,
Осел как глупый в тине.

<1761>

Эдуард Багрицкий

ТРУД

Этой зимой в заливе
Море окоченело.
Этой зимой не виден
Парус в студеной дали.

Встанет апрельское солнце,
Двинется лед заповедный,
В море, открытое море
Вылетит шлюпка моя.

И за кормою высокой
Сети по волнам польются,
И под свинцовым грузилом
Станут на зыбкое дно.

Сельди, макрели, мерланы,
Путь загорожен подводный,
Жабры сожмите и мимо,
Мимо плывите сетей!

Знает рыбацкая удаль
Рыбьи становища. Полон
Легкий баркас золотистой
И голубой чешуей.

Руль поверни, и на берег
Вылетит лодка. И руки,
Жадные и сухие,
Рыбу мою разберут.

Выйди, апрельское солнце,
Солнце труда и веселья,
Встань над соленой водою
В пламени жарких лучей!

Но за окном разгулялась
Злая февральская вьюга,
Снег пролетает, и ветер
Пальцем в окошко стучит.
В комнате жарко и тихо,

В миске картофель дымится,
Маятник ходит, и мерно
Песню бормочет сверчок.

Выйди, апрельское солнце,
Солнце труда и простора!
Лодка просмолена. Парус
Крепкой заштопан иглой.

<1924>

Николай Заболоцкий

СЕДОВ

Он умирал, сжимая компас верный.
Природа мертвая, закованная льдом,
Лежала вокруг него, и солнца лик пещерный
Через туман просвечивал с трудом.
Лохматые, с ремнями на груди,
Свой легкий груз собаки чуть влачили.
Корабль, затертый в ледяной могиле,
Уж далеко остался позади.
И целый мир остался за спиною!
В страну безмолвия, где полюс-великан,
Увенчанный тиарой ледяною,
С меридианом свел меридиан;
Где полукруг полярного сиянья
Копьем алмазным небо пересек;
Где вековое мертвое молчанье
Нарушить мог один лишь человек,—
Туда, туда! В страну туманных бредней.
Где обрывается последней жизни нить!
И сердца стон и жизни миг последний —
Все, все отдать, но полюс победить!
Он умирал посереде дороги,
Болезнями и голодом томим.
В цинготных пятнах ледяные ноги,
Как бревна, мертвые лежали перед ним.
Но странно! В этом полумертвом теле
Еще жила великая душа:
Превозмогая боль, едва дыша,
К лицу приблизив компас еле-еле,
Он проверял по стрелке свой маршрут
И гнал вперед свой поезд погребальный...
О край земли, угрюмый и печальный!
Какие люди побывали тут!
И есть на дальнем Севере могила...
Вдали от мира высится она.
Один лишь ветер воет там уныло,
И снега ровная блистает пелена.
Два верных друга, чуть живые оба,
Среди камней героя погребли,
И не было ему простого даже гроба,
Щепотки не было родной ему земли.

И не было ему ни почестей военных,
Ни траурных салютов, ни венков,
Лишь два матроса, стоя на коленях,
Как дети, плакали одни среди снегов.
Но люди мужества, друзья, не умирают!
Теперь, когда над нашей головой
Стальные вихри воздух рассекают
И пропадают в дымке голубой,
Когда, достигнув снежного зенита,
Наш флаг над полюсом колеблется, крылат.
И обозначены углом теодолита
Восход луны и солнечный закат,—
Друзья мои, на торжестве народном
Помянем тех, кто пал в краю холодном!
Вставай, Седов, отважный сын земли!
Твой старый компас мы сменили новым.
Но твой поход на Севере суровом
Забыть в своих походах не могли.
И жить бы нам на свете без предела,
Вгрызаясь в льды, меняя русла рек.—
Отчизна воспитала нас и в тело
Живую душу вдунула навек.
И мы пойдем в урочища любые,
И, если смерть застигнет у снегов,
Лишь одного просил бы у судьбы я:
Так умереть, как умирал Седов

<1937>

Владимир Набоков

ПОЭТЫ

Из комнаты в сени свеча переходит
и гаснет... плывёт отпечаток в глазах,
пока очертаний своих не находит
беззвездная ночь в тёмно-синих ветвях.

Пора, мы уходим: ещё молодые,
со списком ещё не приснившихся снов,
с последним, чуть зримым сияньем России
на фосфорных рифмах последних стихов.

А мы ведь, поди, вдохновение знали,
нам жить бы, казалось, и книгам расти,
но музы безродные нас доконали, —
и ныне пора нам из мира уйти.

И не потому, что боимся обидеть
своею свободою добрых людей...
Нам просто пора, да и лучше не видеть
всего, что сокрыто от прочих очей:

не видеть всей муки и прелести мира,
окна в отдаленье, поймавшего луч,
лунатиков смирных в солдатских мундирах,
высокого неба, внимательных туч;
красы, укоризны; детей малолетних,
играющих в прятки вокруг и внутри
уборной, кружащейся в сумерках летних;
красы, укоризны вечерней зари;

всего, что томит, обвивается, ранит:
рыданья рекламы на том берегу,
текучих её изумрудов в тумане, —
всего, что сказать я уже не могу.

Сейчас переходим с порога мирского
в ту область... как хочешь её назови:
пустыня ли, смерть, отрешенье от слова, —
а может быть проще: молчанье любви...

Молчанье далёкой дороги тележной,

где в пене цветов колея не видна,
молчанье отчизны (любви безнадежной),
молчанье зарницы, молчанье зерна.

<1939>

Наум Коржавин

ПЕСНЯ, КОТОРОЙ ТЫСЯЧА ЛЕТ

*Это старинная песня,
которая вечно нова.*

Г. Гейне

Старинная песня.
Ей тысяча лет:
Он любит её,
А она его – нет.

Столетия сменяются,
Вьюги метут,
Различными думами
Люди живут.

Но так же упрямо
Во все времена
Его почему-то
Не любит она.

А он – и страдает,
И очень влюблён...
Но только, позвольте,
Да кто ж это – он?

Кто? – Может быть, рыцарь,
А может, поэт,
Но факт, что она –
Его счастье и свет.

Что в ней он нашёл
Озаренье своё,
Что страшно остаться
Ему *без неё*.

Но сделать не может
Он здесь ничего...
Кто ж это она,
Что не любит его?

Она? – Совершенство.
К тому же она

Его на земле
Понимает одна.

Она всех других
И нежней, и умней.
А он лучше всех
Это чувствует в ней...

Но всё-таки, всё-таки
Тысячу лет
Он любит её,
А она его – нет.

И всё же ей по сердцу
Больше другой –
Не столь одержимый,
Но всё ж неплохой.

Хоть этот намного
Скучнее того
(Коль древняя песня
Не лжёт про него).

Но песня всё так же
Звучит и сейчас,
А я ведь о песне
Веду свой рассказ.

Признаться, я толком
И сам не пойму.
Ей по сердцу больше другой.
Почему?

Так глупо
Зачем выбирает она?
А может, не скука
Ей вовсе страшна?

А просто как люди
Ей хочется жить...
И холодно ей
Озареньем служить.

Быть может... Не знаю.

Ведь я же не бог.
Но в песне об этом
Ни слова. Молчок.

А может, и рыцарь
Вздыхать устаёт.
И сам наконец
От неё отстаёт.

И тоже становится
Этим другим –
Не столь одержимым,
Но всё ж неплохим..

И слышит в награду
Покорное «да»...
Не знаю. Про то
Не поют никогда.

Не знаю, как в песне,
А в жизни земной
И то и другое
Случалось со мной.

Так что ж мне обидно,
Что тысячу лет
Он любит её,
А она его – нет?

<1958>

ПРОЗА

Павел Мельников (Андрей Печерский)

В ЛЕСАХ

Часть первая

Глава первая

Верховое Заволжье – край привольный. Там народ досужий, бойкий, смышленный и ловкий. Таково Заволжье сверху от Рыбинска вниз до устья Керженца. Ниже не то: пойдет лесная глушь, луговая черемиса, чуваша, татары. А еще ниже, за Камой, степи раскинулись, народ там другой: хоть русский, но не таков, как в Верховье. Там новое заселение, а в Заволжском Верховье Русь исстари уселась по лесам и болотам. Судя по людскому наречному говору – новгородцы в давние Рюриковы времена там поселились. Преданья о Батыевом разгроме там свежи. Укажут и «тропу Батыеву» и место невидимого града Китежа на озере Светлом Яре. Цел тот город до сих пор – с белокаменными стенами, златоверхими церквами, с честными монастырями, с княженецкими узорчатыми теремами, с боярскими каменными палатами, с рубленными из кондового, негниющего леса домами. Цел град, но невидим. Не видать грешным людям славного Китежа. Сокрылся он чудесно, Божьим повеленьем, когда безбожный царь Батый, разорив Русь Суздальскую, пошел воевать Русь Китежскую. Подошел татарский царь ко граду Великому Китежу, восхотел дома огнем спалить, мужей избить либо в полон угнать, жен и девиц в наложницы взять. Не допустил Господь басурманского поруганья над святыней христианскою. Десять дней, десять ночей Батыевы полчища искали града Китежа и не могли сыскать, ослепленные. И досель тот град невидим стоит, – откроется перед страшным Христовым судилищем. А на озере Светлом Яре, тихим летним вечером, виднеются отраженные в воде стены, церкви, монастыри, терема княженецкие, хоромы боярские, дворы посадских людей. И слышится по ночам глухой, заунывный звон колоколов китежских.

Так говорят за Волгой. Старая там Русь, исконная, кондовая. С той поры как зачиналась земля Русская, там чуждых насельников не бывало. Там Русь съсстари на чистоте стоит, – какова была при прадедах, такова хранится до наших дней. Добрая сторона, хоть и смотрит сердито на чужанина.

В лесистом Верховом Заволжье деревни малые, зато частые, одна от другой на версту, на две. Земля холодна, неродима, своего хлеба мужику разве до масленой хватит, и то в урожайный год! Как ни бейся на надельной полосе,

сколько страды над ней не принимай, круглый год трудовым хлебом себя не прокормишь. Такова сторона!

Другой на месте заволжанина давно бы с голода помер, но он не лежебок, человек досужий. Чего земля не дала, уменьем за дело взяться берет. Не побрел заволжский мужик на заработки в чужу-дальнюю сторону, как сосед его вязниковец, что с пуговками, с тесемочками и другим товаром кустарного промысла шагает на край света семье хлеб добывать. Не побрел заволжанин по белу свету плотничать, как другой сосед его галка.^[11] Нет. И дома сумел он приняться за выгодный промысел. Вареги зачал вязать, поярок валять, шляпы да сапоги из него делать, шапки шить, топоры да гвозди ковать, весовые коромысла чуть не на всю Россию делать. А коромысла-то какие! Хоть в аптеку бери – сделаны верно.

Леса заволжанина кормят. Ложки, плошки, чашки, блюда заволжанин точит да красит; гребни, донца, веретена и другой щепной товар работает, ведра, ушаты, кадки, лопаты, коробья, весла, лейки, ковши – все, что из лесу можно добыть, рук его не минует. И смолу с дегтем сидит, а заплатив попенные, рубит лес в казенных дачах и сгоняет по Волге до Астрахани бревна, брусья, шести, дрючки, следи и всякий другой лесной товар. Волга под боком, но заволжанин в бурлаки не хаживал. Последнее дело в бурлаки идти! По Заволжью так думают: «Честней под оконьем Христовым именем кормиться, чем бурлацкую лямку тянуть». И правда.

Живет заволжанин хоть в труде, да в достатке. Сысстари за Волгой мужики в сапогах, бабы в котях. Лаптей видом не видано, хоть слыхом про них и слыхано. Лесу вдоволь, лыко нипочем, а в редком доме кочедык найдешь. Разве где такой дедушка есть, что с печки уж лет пяток не слезает, так он, скуки ради, лапотки иной раз ковыряет, нищей братье подать либо самому обуться, как станут его в домовину обряжать. Таков обычай: летом в сапогах, зимой в валенках, на тот свет в лапотках...

Заволжанин без горячего спать не ложится, по воскресным дням хлебает мясное, изба у него пятистенная, печь с трубой; о черных избах да соломенных крышах он только слышал, что есть такие где-то «на Горах».^[12] А чистота какая в заволжских домах!.. Славят немцев за чистоту, русского корят за грязь и неряшество. Побывать бы за Волгой тем славильщикам, не то бы сказали. Кто знаком только с нашими степными да черноземными деревнями, в голову тому не придет, как чисто, опрятно живут заволжане.

<1871-1874>

Иван Тургенев

СФИНКС

Изжелта-серый, сверху рыхлый, исподнизу твёрдый, скрипучий песок... песок без конца, куда ни взглянешь!

И над этой песчаной пустыней, над этим морем мёртвого праха высится громадная голова египетского сфинкса.

Что хотят сказать эти крупные, выпяченные губы, эти неподвижно-расширенные, вздёрнутые ноздри – и эти глаза, эти длинные, полусонные, полувнимательные глаза под двойной дугой высоких бровей?

А что-то хотят сказать они! Они даже говорят – но один лишь Эдип умеет разрешить загадку и понять их безмолвную речь.

Ба! Да я узнаю эти черты... в них уже нет ничего египетского. Белый низкий лоб, выдающиеся скулы, нос короткий и прямой, красивый белозубый рот, мягкий ус и бородка курчавая – и эти широко расставленные небольшие глаза... а на голове шапка волос, рассечённая пробором... Да это ты, Карп, Сидор, Семён, ярославский, рязанский мужичок, соотчич мой, русская косточка! Давно ли попал ты в сфинксы?

Или и ты тоже что-то хочешь сказать? Да, и ты тоже – сфинкс.

И глаза твои – эти бесцветные, но глубокие глаза говорят тоже... И так же безмолвны и загадочны их речи.

Только где твой Эдип?

Увы! не довольно надеть мурмолку, чтобы сделаться твоим Эдипом, о всероссийский сфинкс!

<1878>

Александр Серафимович

ЖЕЛЕЗНЫЙ ПОТОК

В неоглядно-знойных облаках пыли, задыхаясь, потонули станичные сады, улицы, хаты, плетни, и лишь остро выглядывают верхушки пирамидальных тополей.

Отовсюду многоголосо несется говор, гул, собачий лай, лошадиное ржанье, лязг железа, детский плач, густая матерная брань, бабьи переделки, охрипшие забубенные песни под пьяную гармонику. Как будто громадный невиданный улей, потерявший матку, разноголосо-растерянно гудит нестройным больным гудом.

Эта безграничная горячая муть поглотила и степь до самых ветряков на кургане, — и там несмолкаемо-тысячеголосое царство.

Только пенисто-клокочущую реку холодной горной воды, что кипуче несется за станицей, не в силах покрыть удушливые облака. Вдали за рекой синеющими громадами загораживают полнеба горы.

Удивленно плавают в сверкающем зное, прислушиваясь, рыжие степные разбойники-коршуны, поворачивая кривые носы, и ничего не могут разобрать не было еще такого.

Не то это ярмарка. Но отчего же нигде ни палаток, ни торговцев, ни наваленных товаров?

Не то — табор переселенцев. Но откуда же тут орудия, зарядные ящики, двуколки, составленные винтовки?

Не то — армия. Но почему же со всех сторон плачут дети; на винтовках сохнут пеленки; к орудиям подвешены люльки; молодайки кормят грудью; вместе с артиллерийскими лошадьми жуют сено коровы, и загорелые бабы, девки подвешивают котелки с пшеном и салом над пахуче-дымящимися кизьяками.

Смутно, неясно, запыленно, нестройно; перепутано гамом, шумом, невероятной разноголосицей.

В станице только казачки, старухи, дети. Казаков ни одного, как провалились. Казачки поглядывают в хатах в оконца на содом и гоморру, разлившиеся по широким, закутаным облаками пыли улицам и переулкам:

— Щоб вам повылазило!

<1924>

Марина Цветаева

МОЙ ПУШКИН

Теперь мы в сад перелетим,
Где встретила Татьяна с ним.

Скамейка. На скамейке — Татьяна. Потом приходит Онегин, но не садится, а она встает. Оба стоят. И говорит только он, все время, долго, а она не говорит ни слова. И тут я понимаю, что рыжий кот, Августа Ивановна, куклы не любовь, что это — любовь: когда скамейка, на скамейке — она, потом приходит он, и все время говорит, а она не говорит ни слова.

— Что же, Муся, тебе больше всего понравилось? - мать, по окончании.

— Татьяна и Онегин.

— Что? Не Русалка, где мельница, и князь, и леший? Не Рогнеда?

— Татьяна и Онегин.

— Но как же это может быть? Ты же там ничего не поняла? Ну, что ты там могла понять?

Молчу.

Мать, торжествующе: — Ага, ни слова не поняла, как я и думала. В шесть лет! Но что же тебе там могло понравиться?

— Татьяна и Онегин.

— Ты совершенная дура и упрямее десяти ослов! (Оборачиваясь к подошедшему директору школы, Александру Леонтьевичу Зографу). — Я ее знаю, теперь будет всю дорогу на извозчике на все мои вопросы повторять:

— Татьяна и Онегин! Прямо не рада, что взяла. Ни одному ребенку мира из всего виденного бы не понравилось «Татьяна и Онегин», все бы предпочли Русалку, потому что — сказка, понятное. Прямо не знаю, что мне с ней делать!!!

— Но почему, Мусенька, Татьяна и Онегин? — с большой добротой директор.

(Я, молча, полными словами: — Потому что — любовь).

— Она, наверное, уже седьмой сон видит! — подходящая Надежда Яковлевна Брюсова {Сестра Валерия Брюсова. — М. Ц.}, наша лучшая и старшая ученица. И тут я впервые узнаю, что есть седьмой сон, как мера глубины сна и ночи.

— А это, Муся, что? — говорит директор, вынимая из моей муфты вложенный туда мандарин, и вновь незаметно (заметно!) вкладывая, и вновь вынимая, и вновь, и вновь...

Но я уже совершенно онемела, окаменела, и никакие мандаринные улыбки, его и Брюсовой, и никакие страшные взгляды матери не могут вызвать с моих губ - улыбки благодарности. На обратном пути - тихом, позднем, санном, мать ругается: — Опозорила!! Не поблагодарила за мандарин! Как дура — шести лет — влюбилась в Онегина!

Мать ошибалась. Я не в Онегина влюбилась, а в Онегина и Татьяну (и может быть, в Татьяну немножко больше), в них обоих вместе, в любовь. И ни одной

своей вещи я потом не писала, не влюбившись одновременно в двух (в нее — немножко больше), не в них двух, а в их любовь. В любовь.

Скамейка, на которой они не сидели, оказалась предопределяющей. Я ни тогда, ни потом, никогда не любила, когда целовались, всегда — когда расставались. Никогда не любила - когда садились, всегда — когда расходились. Моя первая любовная сцена была нелюбовная: он не любил (это я поняла), потому и не сел, любила она, потому и встала, они ни минуты не были вместе, ничего вместе не делали, делали совершенно обратное: он говорил, она молчала, он не любил, она любила, он ушел, она осталась, так что если поднять занавес — она одна стоит, а может быть, опять сидит, потому что стояла она только потому, что он стоял, а потом рухнула и так будет сидеть вечно. Татьяна на той скамейке сидит вечно.

<1937>

Юрий Коваль

ВОРОНА

Вороны вообще-то очень умные птицы.

Идешь, к примеру, без ружья и всегда подойдешь к вороне близко, а уж если идешь с ружьем — до вороны никогда не дойдешь. А тут у нас вдруг одна глупая ворона объявилась. С чем угодно к ней подойдешь — хоть с ружьем, хоть с пушкой.

Но вообще-то к ней особенно и подходить никто не собирался. Все люди заняты, у всех заботы — не до ворон. И тогда эта глупая ворона сама надумала к людям подходить. Подойдет к трактору и смотрит, как тракторист гайки крутит. Или подлетит к магазину, сядет на крылечко и глядит: кто чего в сумке несет — кто хлеб, а кто постное масло. И особенно ворона привязалась к одной нашей деревенской бабе — Кольки-механизатора жене. Куда она идет — туда и ворона летит. И уж если увидишь — глупая ворона крутится, значит, здесь где-то рядом и Кольки-механизатора жена.

Ребятишки, конечно, веселятся, да и взрослые дразнятся:

— Эй, привет! Воронья невеста!

— Да не воронья я невеста, а Кольки-механизатора жена!

Вот однажды пошла жена Колькина на колодец. Набрала воды, оглянулась, а ворона рядом на снегу сидит, глядит на нее вороньим глазом. Тут жена эта схватила ведро и окатила ворону с головы до ног. Обиделась ворона. Сидит на снегу мокрехонька, глядит вслед глупой бабе.

Тут все в деревне напугались: замерзнет ворона. А ворона залетела в магазин, уселась там на прилавке, обсохла кое-как. А потом снова полетела Кольки-механизатора жену искать.

— Да что же это такое! — сказал я. — Чего она к ней привязалась? Ну, привязалась бы ко мне. Я бы ее водой не обливал, я бы ей хлеба накрошил.

— И ничего особенного тут нет, — сказала Орехьевна. — У Кольки-то механизатора жены по две серьги в каждом ухе. Да и на шее побрякушки висят. Вороне нравится, как они блистают, летает за ней, побрякушку хочет. Вот и отдала бы вороне серьгу, небось не обедняла бы.

Не знаю уж, правильно сказала Орехьевна или нет. Но только если б за мной ворона летала, если б меня любила, я бы ей крошки хлебные сыпал и побрякушки дарил, а водой бы никогда не обливал. Но не меня полюбила ворона.

Полюбила она жену Кольки-механизатора. Вот все-таки какая глупая бывает на свете любовь!

<1985>